

Мадонна длинных парниковых огурцов и блёклых помидоров, мадонна мелкой картошки и бананов с синими наклейками, мадонна редких гранатов и всё ещё диковинных для заснеженной Москвы киви, но в первую очередь, мадонна маленьких крепких мандаринов, за стеклянными стенами палатки, освещённая огоньками свечей, греющих всё это норвящее помёрзнуть окончательно великолепие, ты всё ещё снишься мне, слюнявящая большой пакет с женским профилем или взвешивающая моё детство в пакете маленьком, прозрачном, подвешенном к твоим ручным весам за крючок.

Это самое детство с растянутыми колготными коленками и парными варежками на резинке закончилось в твоём ларьке вместе с усталым тысячелетием снежным вечером на самом закате девяносто девятого.

Мы всегда покупали фрукты и овощи только у тебя, другие, по словам мамы, ввали и обвешивали, а у тебя было такое честное лицо, что твои обвесы она предпочитала не замечать. Тем более, ты запомнила нас по именам — и меня, и маму, и каждый раз, если за нами не змеился хвост очереди, вы немного болтали о жизни, а я прилипла носом к стеклянной витрине и считала, считала, считала. Восемнадцать помидоров плюс тридцать четыре видимых грецких ореха... «Да ерунда всё, Лена, главное — здоровье, остальное подтянется». Лена — это моя мама. А ты... Я не помню, как тебя звали. Столько раз я напрягала память, пытаюсь выудить из глубины ускользнувшее рыбкой имя — Катя, Маша, Люся? Но ни одно так и не блеснуло маячком узнавания, и все эти годы ты остаёшься со мной безымянной. Три связки бананов по пять штук в каждой — сколько вместе?

Сейчас я понимаю, что ты была младше мамы, ровесницей меня сегодняшней, но твои руки — крестьянские, с чернотой под ногтями, в обрезанных перчатках без пальцев, — были намного старше тебя. Ты всегда давала мне что-нибудь бесплатно, «в нагрузку» — пригоршню тыквенных семечек — «погрызть до дома», большое неровное яблоко, оторвавшийся одинокий банан. Взамен зимой я рисовала тебе на запотевшем стекле сердечки, пронзённые стрелами.

В тот вечер, пока ты взвешивала мандарины, и вы перекидывались с мамой какими-то легкомысленными предновогодними словами, я выводила на стекле наступающие нули. Их было целых три, и шли они не за скучными девятками моих прожитых лет, а за новенькой, прежде никем не писанной на полях тетрадей двойкой. Двухтысячный. Я обводила вторым слоем последний ноль, когда



откуда-то сзади донёсся крик, и я подняла голову. Кричали «Лена, Лена», и моя мама обернулась посмотреть, ещё в разговоре с тобой, ещё с широкой улыбкой на лице — тогда я не знала, что в последний раз вижу её счастливой.

Кричала наша соседка, Лидия, и это было странно — с чего бы. Когда двери лифта раскрылись Лидии навстречу, и её ослепило красным, она побежала к нам в квартиру, но там была только бабушка, она-то и сказала ей, что мы ушли на рынок. Соседка оббежала половину палаточных рядов, пока не выхватила в толпе дуэт наших шапок — мою шерстяную сине-розовую с тугими завязками под подбородком и мамину меховую. Следующие минуты вылетели у меня из головы,

я помню только как открылась крошечная дверь сбоку от запотевшей витрины, и ты втянула меня внутрь.

— Лена, не волнуйся. Лена, она тут со мной побудет. Сколько надо, столько и побудет. Ты, главное, не волнуйся, не волнуйся, Лена, — бормотала ты вслед стремительно удаляющейся маминой спине. Мама исчезла вместе с Лидией, растворилась в декабрьских сумерках, а ты выдвинула из-под прилавка табуреточку и сказала мне сидеть спокойно. В палатке было на удивление тепло, рядом со мной прислонилась к стенке обогревательная пластина — у нас дома была такая-же, изумрудная, сине-зелёная и неуловимо загадочная, и я тихо трогала её пальцем.

Скоро стемнело, и люди начали возвращаться с работы, торговля кипела, ты взвешивала, отсчитывала сдачу из поясной сумки, рекламировала свой товар — «а огурчиков еще не желаете?», «возьмете два кило? у вас кило восемьсот пока выходит», «конечно свежие, как же не свежие, вы сами попробуйте, мне не жалко!» Я скоро заскучала, и ты втянула меня в игру — теперь я подавала тебе товары. Отбирала виноград, киви, тугие зелёные фейхоа, которые почему-то пахли подмосковной клубникой. Я очень старалась, и некрасивые, неровные, подвявшие не проходили мой строгий отбор. Кто-то сделал тебе комплимент, похвалив «дочку-помощницу». Ты потрепала меня по голове. Твои руки пахли мылом и землёй.

Ты зажигала свечки — маленькие, в жестяных кружляшках, они быстро выгорали, — и давала их мне, и я, стараясь не дышать, чтобы не сбить дрожащее пламя, ставила их на место догоревших. Изнутри было так уютно, так хорошо в этот зимний вечер, а изо ртов толпящихся снаружи покупателей валили такие основательные клубы пара, что я решила, что, пожалуй, не хочу становиться космонавтом, когда вырасту, а хочу провести свою жизнь, сидя в маленьком стеклянном эдеме и раздавая страждущим райские яблоки и апельсины.

Народу становилось всё меньше и меньше, и наши соседи начали сворачиваться, собираться, паковать квашеную капусту и солёные огурцы, запирали свои богатства и уходили в сторону метро. А мы всё сидели вдвоём, и ты кормила меня мандаринами: «Мандарины — главная новогодняя еда, так и запомни. У тебя может не быть денег на оливье или мимозу, ты можешь решить, что к чёрту всё, и не будешь ты делать селёдку под шубой, и будешь права, но мандарины, мандарины ты отменить не имеешь права». Я смеялась, и говорила, что тому, кто посмеет отменить мандарины, президент выпишет самый большой штраф в мире. Нет, во вселенной. Я тараторила про вселенную (я только что прочла о ней в большой книжке с красивыми картинками), и про то, как в самом центре Земли — жидкая лава, и про страшных моллюсков-наутилусов, которые в глубине океана шевелят белёсыми щупальцами.

Тебе давно пора было домой, но ты сидела, и говорила про Торопец — маленький город, из которого ты приехала. Мне казалось, что в Торопце должны жить ужасные торопыги. А потом ты терпеливо слушала про то, как прошлым летом мы впервые оказались за границей. Я почему-то ожидала увидеть реальную, осязаемую границу — крепостную стену или ров, и стёршаяся от сотен подошв

тускло-красная линия в аэропорту меня поначалу разочаровала. Но сама эта за-  
граница, щедро осевшая в моей памяти обжигающим песком, солёным айрянном  
и огромной мельницей на входе в старый город Нессебар, сама эта заграница,  
хотя мама и шутила, что «курица — не птица», а папа каждый раз обижался, ведь  
это он заработал по-человечески, это он вывез семью на море, это он пахал, как  
вол, сама заграница меня разочаровать не могла. Дни тянулись медленно, как  
будто специально замедлив свой ход, чтобы отдыхающие мы, как губки, смогли  
впитать в себя все звуки и запахи этого густонаселённого курортного райка —  
палачин-чин-чин-ки, я прыгаю на одной ножке, пока на раскалённом кругу пузы-  
рится мой будущий завтрак, оглушительные крики чаек, мамин крем для загара  
и папин лосьон после бритья, мама на берегу, а мы вышли в открытое всем ве-  
трам море, скрип нарукавников на моих предплечьях, папа учит меня плавать, я  
спрашиваю у него, почему курица — не птица, а он смеётся и говорит, что это все  
Ленкины глупости, ну конечно же птица, доча, просто маленькая, и не таких ещё  
птиц наловим, ещё в Италию съездим, ещё Париж посмотрим, ничего-ничего.

Но тебе как будто не нравилось, когда я рассказывала о папе, и ты всё время  
пыталась свести меня с этой тропинки разговора, сбить на что-то другое, напри-  
мер, на маму. А что мама? Я даже не спрашивала у тебя, где мама, ведь со мной  
происходило большое приключение — мы были зрителями маяка посреди  
ревущей вьюги, мы были альпинистами, греющими руки над пламенем костра  
во время долгожданного привала, да кем мы только не были в нашем овощном  
ларьке, какая мама, о чём вы?

Когда на рынке погасли огни последней палатки, ты взяла меня за плечи,  
и сказала: «А сейчас слушай внимательно». Ты сказала, что маме надо будет по-  
могать. Очень много помогать. И быть хорошей, послушной девочкой. Я выво-  
рачивалась, крутилась угрём, мне казалось, что ты портишь наше приключение  
этим глупым разговором. Но ты крепко держала меня за плечи, и смотрела мне  
в глаза, и повторяла, повторяла, повторяла. Ты говорила, что в этом мире надо  
быть сильной, очень сильной девочкой, потому что иначе не получается. Не по-  
лучается, иначе, жизнь такая, понимаешь? Понимаешь? Я не понимала. Я хотела  
играть и есть мандарины, рассказывать про Чёрное море, которое никакое, на  
самом деле, не чёрное, и слушать про город Торопец, а ты на моих глазах из вол-  
шебного существа, из мадонны продуктовой палатки, из королевны картошки  
и крепких луковиц превращалась во взрослую.

Скоро за мной пришла бабушка, и я окончательно раскапризничалась. Я не  
хотела идти домой, я хотела жить в палатке со свечными огоньками, и чтобы ве-  
чер никогда не кончался, а завтра не наступало, пожалуйста, ну что, так сложно,  
что ли, но бабушка, торопливо благодаря тебя и одновременно пытаюсь застег-  
нуть на мне куртку и повязать шарф, вытащила меня наружу, в клубящуюся под  
ногами метель. Бабушка попыталась засунуть тебе в поясную сумку несколько  
смятых купюры, но ты не взяла. Ты помахала мне рукой на прощание и прокри-  
чала вслед: «Сильной, как я тебе сказала! Надо быть сильной!»

Когда мы вошли в подъезд, бабушка повела меня вверх по лестнице. Я ныла, что хочу поехать на лифте, но бабушка сказала, что лифт не работает. Мы тащились наверх, на девятый этаж, я яростно расстёгивала на себе куртку, развязывала впившиеся в подбородок завязки шапки, и ненавидела весь мир — бабушку, маму, но больше всех тебя. За то, что разрушила нашу игру, наше приключение, нашу волшебную сказку, в которой мы были альпинистами и зрителями маяка из множества мандариновых огоньков в бушующем декабрьском море, и кто знает, кем ещё могли бы мы стать, если бы ты нас не предала, заведя невыносимые взрослые разговоры, от которых мне хотелось чесаться и закрывать уши руками.

Через несколько лет я прочту рассказ Брэдбери о жене астронавта, сгоревшего на полёте к солнцу. Она начала спать днём, и жить ночью, чтобы не видеть того, что напоминало ей о случившемся. После того, как вслед за Лидией мама вбежала в подъезд и увидела в раскрытых дверях лифта невозможно-красное, а в самом его центре папу, вступившего на излёте тысячелетия не в те отношения не с теми партнерами, мама перестала ездить на лифтах. Перестала она и закупаться на рынке, обходя всякие напоминания о том дне дальними тропами, на которых скоро, как грибы, выросли супермаркеты.

Я следовала её примеру, но однажды, несколько лет спустя, в такую же декабрьскую метель меня будто магнитом потянуло на рынок. С колотящимся в горле сердцем я подходила к заветной палатке, но вместо тебя там была усталая армянская женщина, у которой я зачем-то купила килограмм лимонов, а после выкинула его в ближайшую помойку.

За всё это время я сменила несколько районов, несколько съёмных квартир, но каждый год я возвращаюсь сюда в конце декабря. Почти за двадцать лет исчез сначала рынок, а потом и вся память о нём, но я захожу в кафе, заказываю чашку кофе и сажусь к большому, во всю стену окну, выходящему туда, где когда-то стояла твоя палатка.

Я не смотрю на лица спешащих мимо, ведь, страшно признаться, но твоего, спустя столько лет, я толком и не помню. Вместо этого я высматриваю в толпе руки, которые, по глупой прихоти памяти, остались со мной до последней морщинки — крестьянские, с чернотой под ногтями, в обрезанных перчатках без пальцев, хотя, мне кажется, я узнаю их и без перчаток, пахнущие землёй и мылом, крепко однажды державшие меня за плечи, руки моей мандариновой мадонны, моего истекшего кровью на полу холодного лифта детства.

... РАССВЕТ-РАССВЕТ-РАССВЕТ-И-БЕЛЫЙ-ДОЖДЬ —

И-БЕЛЫЙ-ДОЖДЬ —

ПОЛЁТ СЫРЫХ ЖЕМЧУЖИН — НАД СРЕДНИМ —

В ПРОМЕЖУТОК —

ОБЛАЧЕННЫМ

НАД БЕЛЫМ

И ПРОСТЫМ

ГДЕ  
ТАК  
ЛЕГКО  
ДЫШАТЬ

И КТО УМЕЕТ ГУБАМИ ВСТРЕТИТЬ НЕБО ...